

ДОСТОЕВСКИЙ

* * *

О Достоевском ничего нового не скажешь. Все умные и дельные соображения уже высказаны, все они когда-то были новыми и острыми, и все уже устарели, а между тем любимый и пугающий образ этого писателя неизменно задает нам новые загадки и приоткрывает новые тайны, когда мы приходим к нему в часы нашего одиночества и горя.

Обыватель, который читает о Раскольникове, уютно устроившись на диване, и наслаждается ощущением сладкой жути, погружаясь в призрачный мир этого романа, – не настоящий читатель Достоевского, так же, как ученый умница, восхищенный психологизмом его романов и пишущий дельные брошюры о его мировоззрении. Достоевского надобно читать, когда у нас горе, когда мы уже настрадались, дошли до предела и, кажется, больше страдать не можем, когда вся жизнь становится для нас глубокой, жгучей, пылающей раной, и горло сжимает отчаяние, и мы уже мертвы, ибо лишились последних надежд. Когда мы, одинокие и бессильные в своем горе, как бы со стороны взирая на жизнь, уже не постигаем ее неистовой, прекрасной жестокости и уже ничего от нее не ждем, вот тогда мы способны внимать музыке этого страшного и ве-

ликолепного писателя. Тогда мы уже не зрители, мы не наслаждаемся и не судим – мы бедные братья всех воплощенных им униженных и оскорбленных, мы вместе с ними страдаем и вместе с ними, оцепенев, затаив дыхание, не можем отвести взгляд от водоворота жизни и неостановимых жерновов смерти. И тогда мы слышим музыку Достоевского, слова утешения и любви, и лишь тогда постигаем чудесный смысл созданного им страшного мира, который так часто неотличим от ада.

Две силы покоряют нас в его творениях, и вся мифическая глубина и необъятная ширь его музыки рождаются из полярности двух начал, из столкновения двух стихий.

Одна из этих сил – отчаяние, торжество зла, сокрушенность и окончательное непротивление перед лицом жестокой, кровавой дикости и сомнение во всем, что есть человек. Необходимо претерпеть эту смерть, необходимо сойти в этот ад – тогда, и не раньше, донесется к нам другой, небесный голос мастера. Искреннее и честное признание, что наша жизнь и наша человеческая сущность убоги, сомнительны, более того, безнадежно обречены – таково предварительное условие. Мы должны претерпеть страдания, принять смерть, наш взор должен заледенеть от дьявольской ухмылки неприкрашенной реальности – тогда, и не раньше, мы воспримем глубину и правду этого второго, небесного голоса.

Первый голос утверждает смерть и отрицает надежду, отвергает любые умозрительные или художественные приукрашивания и смягчения, которыми приятные писатели обманывают нас, – а мы по привычке поддаемся обману, – скрывая опасности и мерзость человеческого бытия. Но второй, поистине небесный голос этой прозы внушает нам, что на другой, небесной стороне есть иное начало, нежели смерть, иная реальность, иная сущность – это совесть человека. Пусть человеческая жизнь переполнена войнами и страданиями, подлостью и мерзостью, но существует и нечто другое – совесть, способность человека отвечать пред Богом. Совесть также ведет нас по пути страданий и смертного страха, ведет к отчаянию и вине, но она открывает выход из невыносимой бессмысленности одиночества, и в конце пути нас ждет соединение со смыслом и сущностью, с вечным. Совесть не имеет ничего общего ни с моралью, ни с законом, она может вступить в ужаснейшие, смертельные противоречия с ними, но она безмерно сильна, она сильнее ленивой привычки, сильнее своекорыстия, сильнее тщеславия. Человеку в глубочайшем горе, в страшном смятении она всегда оставит открытой узкую тропу, которая поведет его не назад, не в мир, обреченный смерти, но за его пределы, к Богу. Труден этот путь, ведущий человека к совести: почти все люди в своей жизни снова и снова идут про-

тив совести, упираются, все больше отягощают ее и погибают, задохнувшись, так как задушили свою совесть; но по ту сторону страдания и отчаяния для каждого человека всегда открыт потаенный путь, благодаря которому жизнь становится осмысленной, а смертный час – легким. Кто-то без удержу грешит против совести до тех пор, пока не пройдет все круги ада, пока не осквернит себя всеми возможными преступлениями, но в конце концов он, вздохнув, осознаёт свое заблуждение, и тогда в душе его случается переворот. Другие живут в добром согласии со своей совестью, редкие, счастливые, святые люди, и, что бы с ними ни стряслось, несчастье поразит лишь внешнюю сторону их жизни, но никогда не сокрушит сердце, они всегда чисты, улыбка не покидает их лица. Таков князь Мышкин.

Я услышал эти два голоса и воспринял эти два учения Достоевского в те времена, когда был настоящим его читателем, подготовленным страданиями и отчаянием. Есть великий гений, пробуждающий во мне подобные переживания, композитор, чью музыку я не во всякое время люблю и хочу слушать, так же, как и читать Достоевского могу не всегда. Это Бетховен. Ему ведомы счастье, мудрость и гармония, каких не найдешь на торной дороге, эти цветы расцветают только на тех путях, что подходят к краю пропасти, и срываешь их не с улыбкой, а обливаясь слезами и обессилив от

страдания. В его симфониях и квартетах порой, сквозь сумрак горя и одиночества, бесконечно трогательно, по-детски наивно и нежно проливается некий свет, некое предчувствие смысла, уверенность в спасении. Такие места я нахожу и у Достоевского.

1925

РАЗМЫШЛЕНИЯ О РОМАНЕ «ИДИОТ»

«Идиота» из романа Достоевского, князя Мышкина, часто сравнивают с Иисусом. Конечно, можно их сравнить. С Иисусом можно сравнить каждого человека, коль скоро его озаряет магическая истина и он, уже не разделяя свое бытие и мысль, становится одиноким среди своих близких и противником других людей. Но в остальном между Мышкиным и Иисусом, по моему, сходство не слишком заметно, есть только еще одна, впрочем, важная черта Иисуса, которую я нахожу и у Мышкина – робкое целомудрие. Потаенный страх перед полем и зачатием – эта особенность, определенно, была у «исторического», евангельского Иисуса, и она, конечно, неотъемлема от его вселенской миссии. Даже Ренан в своей очень поверхностной книге не умолчал об этой черте Иисуса.

Но странно: хотя мне не по душе вечные сравнения Мышкина с Иисусом, я все же заметил, что безотчетно связываю друг с другом

эти два образа. Обратил я внимание на эту связь благодаря одной крохотной детали. Однажды, размышляя об «идиоте», я понял, что в первую очередь мне всегда приходит на ум что-то второстепенное. Когда бы я ни размышлял о нем, в первый миг, при первом проблеске воспоминания, мне всегда представляется одна особенная, хотя, в сущности, и незначительная сцена. И то же бывает, когда я размышляю о Спасителе. Если какая-то ассоциация приводит меня к мысли «Иисус» или мои глаза, мой слух воспринимают имя «Иисус», то в первом проблеске мне видится не Иисус на кресте и не Иисус в пустыне, не Иисус, творящий чудеса и не Иисус воскресший, – Он всегда предстает мне в Гефсиманском саду испивающим последнюю чашу одиночества, когда душа Его разрывается от сознания неизбежной смерти и нового, высшего рождения и Он трогательно по-детски ищет утешения, оглядывается на своих учеников, ищет, в своем безнадежном одиночестве, хотя бы каплю тепла и человеческого сочувствия, этого мимолетного прекрасного обмана... А Его апостолы спят! Разлеглись и спят себе, славный Петр, милый Иоанн, все они спят, все эти добрые люди, в которых Иисус по доброте своей готов снова и снова обманываться, которых готов прощать с любовью, которым поверяет свои мысли, частицы мыслей, как будто ученики способны понять Его язык, как будто во-

общее возможно сообщить им Его мысли, пробудить некий созвучный отклик, найти нечто вроде понимания, родственности, общности. И вот, в этот час невыносимого страдания Он ищет взглядом сотоварищей, единственных, какие у Него есть, и в эти минуты Он настолько отзывчив, настолько человек, настолько страдалец, что Он больше, чем когда-либо, мог бы стать близким к ним, и любое, самое неразумное их слово, любое, хоть чуточку дружеское движение принесли бы Ему, пусть слабое, но утешение и поддержку... Однако нет, они далеки, они сладко спят и похрапывают. Это ужасное мгновение, не знаю как, в ранней юности запечатлелось в моем воображении и, повторяю, всегда, когда я думаю об Иисусе, мне в первую очередь вспоминается именно оно.

Что касается Мышкина, параллель этого воспоминания следующая. Когда я думаю о нем, «идиоте», в моей памяти тотчас возникает, словно при вспышке света, сцена не очень важная, но означающая опять-таки момент невероятной, полнейшей изоляции, трагического одиночества. Это вечер в Павловске, в доме Лебедева, когда князь, выздоравливающий после эпилептического припадка, принимает у себя семью Епанчиных и внезапно в это общество, веселое и элегантное, – хотя во всем уже чувствуется тайное напряжение и воздух пронизан предгрозовыми токами, – яв-

ляются молодые господа революционеры и нигилисты: болтливый юнец Ипполит, с ним мнимый «сын Павлищева», «боксер» и другие. Неприятная, всякий раз внушающая отвращение, возмутительная, гнусная сцена: ограниченные, впавшие в заблуждение молодые люди, полные бессильной злобы, кажется, стоят на театральных подмостках, в ослепительных лучах – так отчетливо, так беспощадно ярко они высвечены, – и каждое их слово причиняет боль вдвойне: и действием на доброго Мышкина, и жестокостью, с какой оно разоблачает и с головой выдает нам самого говорящего. Странная, незабываемая, хотя, наверное, не слишком важная и в романе особо не подчеркнутая сцена. На одной стороне общество, элегантные светские люди, богатые, могущественные, мыслящие консервативно, на другой – озлобленная молодежь, неумолимая, чуждая всему, кроме бунта, не признающая ничего, кроме своей ненависти ко всем старым порядкам, беспощадная, распущенная, дикая, невыразимо *stupid** в своих теоретических умствованиях. И между этими враждующими сторонами – князь, совсем один, словно на авансцене, и за ним придирчиво, критически следят обе эти группы. Чем разрешается ситуация? Она разрешается тем, что Мышкин, несмотря на несколько мелких промахов, допу-

* Глупая (*англ.*).

щенных из-за волнения, держится в полном соответствии со своей доброй, нежной, детской натурой, с улыбкой сносит невыносимое, самоотверженностью отвечает на неимоверно наглые нападки и готов признать, готов отыскать в себе любую вину... На этом, как раз на этом он и проваливается, ему отвечают презрением, но отвечает не та или другая сторона, не молодежь в пику старикам или наоборот, – а обе они, обе! Все эти люди от него отворачиваются, он всем досадил, и на время вдруг разом исчезают столь яркие контрасты – в социальном положении, годах, умонастроениях, – и все оказываются едины, совершенно едины в своем возмущении и злобе, когда отворачиваются от того, кто среди них единственный чистый человек!

Но в чем причина того, что жизнь этого «идиота» невозможна в мире других людей? Почему никто его не понимает, хотя почти все так или иначе его любят и его кротость всем по душе, а нередко ее считают и достойной подражания? Что отделяет его, магического человека, от других, обыкновенных людей? Почему простые люди правы, отвергая его? Почему они волей-неволей вынуждены его отвергать? Почему с ним неизбежно происходит то же, что с Иисусом, которого под конец покинул не только мир, но и все ученики?

Потому что «идиоту» свойственно мышление иное, чем у всех прочих людей. В нем не

меньше логики и не больше инфантильно-ассоциативных связей, не в этом дело. Его мышление того рода, который я называю «магическим». Он отрицает, этот кроткий «идиот», всю жизнь, все мысли и чувства, весь мир и всю реальность других людей. Его действительность совершенно иная, не та же, что у них. Их действительность для него призрачна. И так как он видит совершенно другую реальность, рассчитывает на нее, ожидает ее воплощения, он становится врагом всех прочих людей.

Различие не в том, что кто-то высоко ставит власть денег, семью, государство и тому подобные ценности, он же – нет. И не в том дело, что он представитель духовного, а они – материального, да как ни называй эти два начала! Не в этом суть. Материальная жизнь существует и для «идиота», он, безусловно, признает значение материальных вещей, хотя и не считает их важными. Его требование, его идеал – не того рода, что идеал индийского аскета, не уход из иллюзорной реальности земного мира ради бытия в мире самодостаточного духа, полагающего реальным лишь самого себя.

Нет, Мышкин вполне мог бы поговорить с другими о взаимных правах природы и духа, о необходимости их взаимопроникновения и взаимодействия, он встретил бы понимание. Однако для других людей одновременное и равноправное бытие двух миров – только умная фраза, для него же они жизнь и действи-

тельность! Пока что не ясно. Постараемся изложить иначе.

Мышкин отличается от других тем, что он, совсем не глупый человек, в то же время – «идиот» и эпилептик, и потому он связан со своим бессознательным гораздо более тесно и непосредственно, чем другие люди. Его сильнейшее переживание – мгновение высшей тонкости чувства и понимания, несколько раз им испытанное, магическая способность на долю секунды, в миг озаряющей душу вспышки стать словно бы и всеми, и каждым, всем сочувствовать, всем сострадать, понимать и принимать все, что ни есть на свете. В этом его существо. Он владеет магией; мистиков он не читал, мистическую мудрость он не вынес из книг и не воспринял это учение как восхищенный неофит, а действительно испытал в жизни (хотя бы и в отдельные редкие мгновения). Ему не только являлись замечательные и важные мысли и озарения – однажды, вернее несколько раз, он стоял на той магической грани, где приемлешь все, где истинна не только самая неожиданная мысль, но и любая ее противоположность.

Вот это-то и страшно, это и внушает другим людям, вполне правомерно, страх перед ним. Однако Мышкин не совершенно одинок, не весь мир против него. Есть еще несколько человек, очень сомнительных, очень опасных для других и крайне опасных для себя самих;

они иногда понимают Мышкина, не умом, а скорее сердцем. Это Рогожин и Настасья. Преступник и истеричка, они понимают это кроткое, невинное дитя! Но, видит Бог, дитя не столь смиренно, как кажется. Его невинность далеко не безобидна, и правы люди, которые смотрят на него со страхом.

«Идиот», как я упомянул, иногда близко подходит к той грани, за которой любая мысль принимается как истинная, и точно так же – мысль противоположная. Это значит, он наделен чувством, которое говорит: нет ни идеи, ни закона, ни истинного выражения или истинной формы, они истинны и верны, только если рассматриваются с одной, определенной точки зрения, эта точка зрения есть полюс, а всякий полюс имеет противоположный полюс. Понять, где следует поместить свой полюс, занять позицию, с которой должно взирать на мир и полагать его систему, – таково первое условие любого формирования, любой культуры, любого общества и любой морали. Человек же, способный хотя бы на мгновение ощутить, что дух и природа, добро и зло можно поменять местами, – опаснейший противник любого порядка. Ибо за этой гранью начинается противоположность порядка, начинается хаос.

Тип мышления, ведущий назад, в бессознательное, в хаос, разрушает всякий человеческий порядок. Однажды в разговоре с «идио-

том», кто-то бросил реплику, мол, он, «идиот», говорит людям правду и не более того, и в этом-то, дескать, вся беда. Так и есть. Всё истинно, всему можно сказать свое «да». Но чтобы упорядочить мир, чтобы достичь целей, чтобы могли существовать закон, общество, организация, культура, мораль, всякое «да» должно дополняться своим «нет», мир должен быть разделен на противоположности, на добро и зло. Пусть любое отрицание, любой запрет устанавливаются совершенно произвольным образом, – они становятся священными, как только им придают силу закона, как только они обретают последствия, как только становятся основанием для воззрений и систем.

Высшая реальность с точки зрения человеческой культуры – это и есть разделение мира: свет и тьма, добро и зло, дозволенное и запретное. Но для Мышкина высшая реальность – это магическое постижение обратимости любого тезиса, равнозначности полюсов. Если довести эту мысль до конца, «идиот» утверждает материнское право бессознательного, упраздняет культуру. Он не разбивает скрижали закона, он их переворачивает и показывает, что на оборотной стороне написано нечто прямо противоположное.

В том, что этот враг порядка, этот ужасный разрушитель у Достоевского не преступник, а милый робкий человек, по-детски простодушный и обаятельный, с верным сердцем, испол-

ненным самоотверженной доброты, и заключена тайна этой пугающей книги. Исходя из своего глубинного ощущения, Достоевский показывает этого человека больным, эпилептиком. У Достоевского все вестники нового, страшного, неведомого будущего, все предтечи хаоса, который уже предчувствуется, – люди больные, не внушающие доверия, отягощенные виной, это Рогожин, Настасья, позднее и все четверо Карамазовых. Сорвавшиеся, странные, исключительные, но все они таковы, что их странности и душевные недуги вызывают у нас священное почтение, вроде того, с каким у народов Азии относятся к безумцам.

Но ведь примечательно и странно, важно и фатально не то, что где-то в России 50–60-х годов XIX века у гениального эпилептика родились подобные фантазии и образы. Важно, что последние тридцать лет молодежь Европы все более чувствует, что книги его исполнены важного, пророческого смысла. Странно же то, что мы совершенно иначе воспринимаем преступников, истериков и безумцев Достоевского, чем другие фигуры преступников и шутов в других известных романах, и неимоверно глубоко их понимаем, и любим странной любовью, и находим в себе какие-то черты, которые роднят нас с этими людьми или напоминают их.

Это не объясняется случайными и тем более внешними обстоятельствами или особенностями

ми литературного творчества Достоевского. Как ни изумляют в нем некоторые моменты – достаточно упомянуть хотя бы о предвосхищении психологии бессознательного, ныне столь серьезно разработанной учеными, – его творчество поражает нас не потому, что в нем нашли выражение глубочайшие идеи и высокое мастерство, не потому, что в нем художественными средствами воссоздана картина мира, который, в сущности, нам известен или хорошо знаком, – мы воспринимаем его как пророчество, предвестие разложения и хаоса, который вот уже несколько лет как разразился в Европе и уже проявляется даже во внешней стороне жизни. Речь не идет о том, чтобы видеть в мире созданных писателем фигур картину будущего, некий его идеал, нет, и вряд ли кто-то его так понимает. Мы чувствуем, что образ Мышкина и все подобные фигуры отнюдь не ставятся нам в пример: «Таким ты должен стать!» – но воплощают необходимость: «Через это мы должны пройти, это наша судьба!»

Будущее неясно, но путь, указанный Достоевским, имеет только один смысл: новая психологическая установка. Этот путь ведет через Мышкина, он требует «магического» мышления, принятия хаоса. Это возвращение в неупорядоченное, возвращение в бессознательное, бесформенное, животное и еще более отдаленное состояние, возвращение к нашим началам. Не с тем чтобы остаться там, обра-

тившись в животных или протоплазму, но чтобы отыскать новые ориентиры и, вернувшись к корням нашего бытия, пробудить в себе давно забытые инстинкты и открыть новые возможности развития, чтобы предпринять новое сотворение мира, его оценку и разделение. Отыскать этот путь не научат нас никакие программы, никакая революция не распахнет врата к нему. Каждый проходит этот путь в одиночку, ради самого себя. Каждый из нас в какой-то час своей жизни должен, как Мышкин, очутиться у грани, за которой одни истины исчезают, другие могут возникнуть. Каждый из нас однажды, хотя бы на одно мгновение, должен пережить подобное тому, что пережил Мышкин в секунды прозрения, что пережил и сам Достоевский, когда он, приговоренный к смертной казни и помилованный в последний миг, обрел взор пророка.

1919

〈«ПОДРОСТОК»〉

Роман «Подросток» не был вовсе уж никому у нас не знаком, однако перевод его на немецкий язык до сих пор оставался малоизвестным, и это удивительно, так как «Подросток», написанный после «Бесов» и до «Братьев Карамазовых», – один из великих романов Достоевского.

Десять лет назад появился очень хороший перевод. Я читал его с тем жарким, острым интересом, с каким читаешь все произведения Достоевского, поэтому сегодня, при новом чтении, я удивился, – оказалось, что я начисто забыл роман, вернее его сюжет, переплетение линий, интриг и событий. Но не забыл общее настроение, образы главных действующих лиц, тон наиболее важных разговоров, психологические описания и исповедальные откровения о существе русской жизни. Странно, конечно, что не запомнились внешние события в книге, насчитывающей чуть ли не тысячу страниц. Однако этот странный факт лишний раз подтверждает мое внутреннее неприятие любых динамичных «историй», полных яркого, разветвленного, чрезмерно быстрого действия, любых слишком пестрых и цветистых, слишком головокружительных поворотов сюжета. У Достоевского они есть, причем везде, и непрофессионал как раз благодаря такого рода особенностям высоко ценит этого писателя, относя их к признакам его великого таланта. Между тем даже чисто внешние приемы повествования этого мастера то и дело вызывают недоумение. Полагать, что яркость письма, несколько передержанные тона проистекают от наивности или появились случайно, из-за пренебрежения литературным качеством в угоду психологизму, было бы совершенно неверно. Об этом нет и речи.

Все эти совершенно ужасные, неимоверно сильно воздействующие, но притом всегда чуть-чуть неряшливые средства, это неистовое, яркое, при первом чтении лихорадочно будоражащее воздействие того, как автор жонглирует тайнами, предательством, страшными догадками, секретными бумагами, револьвером, арестом, отравлением, самоубийствами, безумствами, подслушанными секретами заговорщиков, специально нанятыми смежными или соседними комнатами, – не просто внешние приемы и не маска, за которой Достоевский прячет свои истинные намерения, он абсолютно честен, и как раз поэтому воздействие его прозы так сильно. Достоевский не только гениальный писатель, превосходно владеющий русской речью и глубоко понимающий русскую душу, – он еще и авантюрист, странно и удивительно отмеченный судьбой, арестант, помилованный в последний миг перед расстрелом, одинокий, бедный страдалец.

Тем не менее, мне кажется, именно этот впечатляющий писательский «аппарат», эти воздействующие на воображение коллизии в первую очередь и устареют в его творчестве. Ведь война, которая идет сегодня, повлияет на наше восприятие, приключения мы будем ценить не так высоко, как сегодня, привлекательность жутких и диких вещей потускнеет. И тем более мощным будет воздействие духа

этих колоссальных книг. И по мере того как эти книги будут становиться достоянием прошлого, все более явственно будет выступать тот факт, что в них (гораздо больше, на более глубоком уровне, чем, скажем, в романах Бальзака) сохранена для всех последующих поколений одна из самых захватывающих и удивительных исторических эпох, сохранена и воссоздана в вечных картинах и образах. Такие книги, как «Идиот», «Подросток», «Братья Карамазовы», однажды, когда все внешнее в них устареет, станут для нас такими же, каким сегодня является Данте, в сотнях деталей уже непонятный, но вечный в своем воздействии, потрясающий как воплощение целой эпохи мировой истории.

«Подросток» отличается от других больших романов мастера двояким образом. Во-первых, действие в нем развивается быстро, даже неудержимо быстро, несмотря на то что лишь изредка выходит за пределы домашнего семейного круга. Второе отличие – это странно «литературная», почти ироническая форма. «Подросток» – двадцатилетний молодой человек, ведущий записки о своей жизни, странный, нелюдимый, ожесточившийся, в то же время честолюбивый, – это очень необычный двадцатилетний молодой человек. И если сама история, рассказанная в романе, охватывающая значительный отрезок русской жизни и отнюдь не страдающая от недостатка сложных

переплетений и волнующих событий, нас увлекает, то мы с удивлением и почти с неприязнью следим за тем, с каким великолепным мастерством, как холодно и искусно воспроизведен тон этого «подростка», с его несколько кичливой одаренностью, и не основанное на жизненном опыте умничанье. При повествовании от первого лица легче группировать людей и события, а также давать им оценку, — но с точки зрения психологии эта форма рассказа все бесконечно усложняет, она бесконечно более рискованна и требует бесконечно большего такта. Лишь иногда, в короткой паузе между бурными событиями можно опомниться и перевести дух, и тут с изумлением, почти ошеломленно понимаешь, что тебе показали немыслимо смелый, даже дерзкий фокус. Однако «аппарат» и тут иногда навязывает себя, свои неуклюжие приемы, так что дело опять не обходится без задних дверей и внезапных явлений. Это раздражает, и все же ни на минуту не возникает подозрения, что Достоевский действует как закулисный кукольник, дергающий за ниточки свои фигуры. Потому что это не фигуры, а живые люди. А люди так много значат и судьбы их так волнуют, потому что они (кто безотчетно, кто почти сознательно) не только претерпевают свои собственные, личные, неповторимые беды и горести, но отображают и типические несчастья, обусловленные чем-то более высо-

ким, укорененные более глубоко беды всего поколения, горести целого народа, в миг между сном и пробуждением видящего мучительные страшные сны.

Буйный, беспощадный, жестокий мир, безобразный мир, в сущности – ад, открывают нам эти книги. Преступление и душевная болезнь, мания величия и подлость, пороки больших городов и вырождение аристократии – все, все тонет в затхлой гнетущей атмосфере, в ночном кошмаре глухой безнадежности. Ни на одной из тысячи страниц этой книги не светит солнце, не зеленеют ни дерево, ни трава, не поют птицы, разве что безголосый соловей в клетке, в грязном трактире. Нет ни времен года, ни пейзажа, люди живут в пелене петербургских туманов. Кажется, они не дышат воздухом, не ходят по земле, а их несет в потоке судьбы, отчаявшихся, преданных. Кажется, ни единого ласкового, теплого искреннего слова, доброй улыбки, ни единого луча солнца не знает этот мир. Впрочем, солнце там есть. Солнце этого мира – религия, свет веры, простодушие благочестивых. В самом сердце этого петербургского мира, где полным-полно людей, сбившихся с пути, да и не ведающих пути, людей, начисто забывших, что могут быть добрые обычаи, общая вера, общие желания и дела, в самой гуще этих бедных, больных, дурных людей появляется добрый и приветливый странник Макар, такой же

наивный и лукавый, такой же светлый и благостный, как чудесный святой старец в «Братьях Карамазовых»; он улыбочив, как дитя, и мудр, как старость. Он мудр, но не образован, он – народ, он – Россия; если бы эта глубокая мудрость была осознана и выражена словами, она показалась бы мелкой и незначительной. Ибо суть ее не познание, а жизнь.

И в других порой вспыхивает эта чуткая и примиряющая русская способность улыбаться в страдании, глубокое добродушие, дар забывать самого себя. И мы слышим, как старый Версилов, типичный представитель глубоко большого русского дворянства говорит: «Да, мальчик, повторю тебе, что я не могу не уважать моего дворянства. У нас создан веками какой-то еще нигде не виданный высший культурный тип, которого нет в целом мире – тип всемирного боления за всех. Это – тип русский, но так как он взят в высшем культурном слое народа русского, то, стало быть, я имею честь принадлежать к нему. Он хранит в себе будущее России». И этот же Версилов, этот же бедный, тонкий, в каких-то отношениях до болезненности культурный представитель уже утратившего корни дворянства, этот человек, который часто не в ладах со своей совестью и не способен принимать решения, человек непредсказуемого нрава и речистый интеллектуал, высказывает идею практической этики, удивительно простую, прекрасную и очевид-

ную: «...Осчастливить непременно и чем-нибудь хоть одно существо в своей жизни, но только практически, то есть в самом деле, я бы поставил заповедью для всякого развитого человека; подобно тому как я поставил бы в закон или в повинность каждому мужику посадить хоть одно дерево в своей жизни ввиду обезлесения России...»

Одним из последствий нынешней войны, несомненно, будет ускоренное движение России по европейскому пути развития, ибо принуждение к дисциплине, организации, своего рода духовному милитаризму есть первый урок современной эпохи, предостерегающий все державы, которые намерены продолжать свое существование и оказывать влияние на будущее. Пассивной России, христианской, терпеливой, самоотверженной России, более чем когда-либо придется искать себе тихий приют в душе наивного народа. Тем внимательнее должны мы прислушаться к голосам этой сокровенной внутренней России. Все, что является «европейским», Россия восприняла от Запада, и она должна еще многому научиться. Но во всем, что касается пассивных, азиатских, сегодня низко ценимых достоинств, русские будут нашими наставниками вплоть до практической политики. Ибо и другой полюс однажды приблизится, и снова приобретет значение та душевная культура, что презирает деятельную жизнь, предпочитая страдать и

терпеть. В этом искусстве, в котором европейцы всегда оставались детьми, русские еще долго будут посредниками между нами и Праматерью-Азией.

1915

«БРАТЯ КАРАМАЗОВЫ»,
ИЛИ ЗАКАТ ЕВРОПЫ

Раздумья, вызванные чтением Достоевского

Что внутри – во внешнем сыщешь,
Что вовне – внутри отыщешь.

*Гете. «Эпифрема»**

Облечь в связную и привлекательную форму мысли, которыми я хочу поделиться, мне не удалось. Нет к этому дарования, вдобавок я считаю своего рода дерзостью, если автор, а так поступают многие, слагает из нескольких своих соображений эссе, с виду завершенное и последовательное, меж тем как мысли содержит лишь весьма малая его часть, а намного большая служит для заполнения пустот. Нет, мне, поверившему в «закат Европы», и прежде всего Европы духовной, нет резона печься о форме, ибо я наверняка усмотрел бы в совершенной форме маскарад и ложь. Скажу, как

* Пер. Н. Вильмонта.

сам Достоевский в последнем томе «Карамазовых»: «...Вижу, что лучше не извиняться. Сделаю как умею, и читатели сами поймут, что я сделал лишь как умел».

В произведениях Достоевского, и сильнее всего – в «Братьях Карамазовых», то, что я называю «закатом Европы», мне кажется, выражено и предсказано небывало отчетливо. Европейская, и особенно немецкая, молодежь сегодня почитает великим писателем не Гете и даже не Ницше, а Достоевского, и это, на мой взгляд, имеет решающее значение для наших судеб. Обратив на это внимание, в немецкой литературе мы повсюду замечаем попытки приблизиться к Достоевскому, пусть даже они часто остаются подражаниями и кажутся наивными. Идеал Карамазовых, древний, азиатский оккультный идеал, начинает становиться европейским, начинает поглощать европейский дух. И это я называю закатом Европы. Этот закат – возвращение к Праматери, возвращение в Азию, к истокам, к «матерям» из второй части «Фауста», и, разумеется, как всякая смерть в земном мире, оно приведет к новому рождению. И только мы видим в этих процессах «закат», мы, современники, потому что, расставаясь с любимой родиной, лишь старики терзаются печалью и чувством невосполнимой утраты, тогда как молодежь помышляет только о новой, будущей жизни.

Но что это за «азиатский» идеал, который я нахожу у Достоевского и который, как мне кажется, готовится к завоеванию Европы?

В двух словах, это отказ от любой твердо установленной этики и морали в пользу всепонимания, всепримирения, новой, опасной, страшной святости – той, что предрекает старец Зосима, что наполняет жизнь Алеши, что предельно убежденно высказывает Дмитрий и особенно Иван Карамазов.

Для старца Зосимы еще сохраняет главенство идеал справедливости, для него еще существуют добро и зло, вот только любовь свою он дарит, как правило, дурным людям. У Алеши эта новая святость гораздо свободнее и шире, он через любую грязь, какая есть вокруг, проходит непринужденно, почти как аморалист; часто, думая о нем, я вспоминаю благороднейшее обещание Заратустры: «Я дал обет отринуть все мерзостное!» Но – удивительно: у братьев Алеши эта идея проводится еще дальше, они устремляются по этому пути еще решительнее, и вопреки всему часто кажется, что характеры братьев Карамазовых по мере развития действия в этой огромной, толстой, состоящей из четырех частей книге, как бы медленно переворачиваются и все прежде незыблемые устои становятся ненадежными: у инока Алеши мы подмечаем все больше и больше мирских черточек, а в насквозь мирских характерах его братьев – все больше святости, и самый отчаянный

и необузданный, Дмитрий, как раз становится самым святым, он глубже и сильнее всех предчувствует новую святость, новую мораль, новое человечество. Это очень странно. Чем неукротимей карамазовщина, чем разгульней порок и пьянство, разнузданность и дикость, тем ярче пробивается сквозь материальную оболочку этих диких явлений, людей и поступков свет нового идеала, тем больше их внутренняя одухотворенность и праведность. И рядом с пропойцей, буяном и убийцей Дмитрием и циничным интеллектуалом Иваном добропорядочные и благопристойные типы прокурора и других обывателей, по мере своего внешнего торжества, становятся все более тусклыми, пустыми, мелкими.

Следовательно, «новый идеал», угрожающий подсечь корни европейского духа, – это, по-видимому, полная аморальность мыслей и чувств, способность даже в самом дурном, самом безобразном прозревать божественное, необходимое, судьбоносное и ему, дурному, именно ему, приносить дань почтения и служить обедню. Прокурор в длинной речи на суде пытается представить обывателям «карамазовщину» в иронически преувеличенном виде, выставить ее на посмешище, но по существу ничуть не преувеличивает, скорее, его попытка остается крайне робкой.

В этой речи с консервативно-буржуазной точки зрения представлен «русский человек»,

с той поры вошедший в поговорку, – опасный, трогательный, безответственный и в то же время соvestливый, мягкий, мечтательный, и жестокий, и очень ребячливый; «русский человек», которого и сегодня часто так зовут, хотя он, полагаю, уже давно намерен стать европейцем. Он и означает «закат Европы».

Этого «русского человека» надо рассмотреть получше. Он явился гораздо раньше Достоевского, но Достоевский окончательно представил его, показав всему миру его ужасное значение. Русский человек – это Карамазов, это Федор Павлович, это Дмитрий, это Иван, это Алеша. Ибо все четверо, какими бы они ни казались разными, составляют единое целое, все вместе они – Карамазовы, и все вместе – «русский человек», все вместе они – грядущий, уже приблизившийся человек европейского кризиса.

Между прочим, отметим чрезвычайно странную особенность: как показано превращение Ивана из цивилизованного человека в Карамазова, из европейца – в русского, из типа, сформированного историей, – в бесформенный материал будущего! С потрясающей убедительностью, свойственной снам, описано это постепенное скатывание Ивана прочь из светлого, подобного нимбу круга выдержки, разума, холодности и учености, постепенное, страшное, безумно захватывающее нас скатывание самого, казалось бы, респектабель-

ного Карамазова в истерию, в русское, в карамазовщину! Именно он, скептик, в конце концов беседует с чертом! К этой беседе мы еще вернемся.

Итак, суть «русского человека» (который давно уже существует и у нас в Германии) не передать, сказав что он «истерик», пьяница или преступник, поэт или святой, ее выражает только понятие совмещенного, одновременного наличия всех этих свойств. Русский человек, Карамазов, – убийца и в то же время судья, он и грубый дикарь, и нежнейшая душа, законченный эгоист и герой, абсолютно способный к самопожертвованию. Подходя с европейской позиции, твердой, моральной, этической, догматической позиции, нам его не раскрыть. В этом человеке уживаются внешнее и внутреннее, добро и зло, Бог и Сатана.

Поэтому снова и снова заявляет о себе карамазовская жажда обретения высшего символа, такого, который был бы им по душе, – им нужен Бог, который был бы одновременно и чертом. Вот этим символом и характеризуется русский человек у Достоевского. Бог, который в то же время дьявол, – это древний демиург. Он был до сотворения мира, он, единственный, обретается по ту сторону противоположностей, для него нет дня и ночи, добра и зла. Он – ничто, и он – Вселенная. Он недоступен познанию, так как мы всё познаем только через противоположности. А мы – индивиды,

нам никуда не деться от дня и ночи, тепла и холода, нам нужен Бог и нужен дьявол. По ту сторону противоположностей, нигде и везде, во всей Вселенной может существовать только демиург, Бог, не ведающий добра и зла.

К этому можно бы добавить еще многое, но сказано уже достаточно. Мы поняли сущность русского человека. Этот человек стремится прочь от противоположностей, от свойств, от понятий морали, этот человек готов погибнуть и вернуться туда, где еще нет *principium individuationis**. Этот человек любит все и ничего не любит, боится всего и ничего не боится, совершает все и ничего не совершает. Этот человек – новое первовещество, бесформенный психический материал. Жить в таком состоянии он не может, а может лишь погибнуть, промелькнуть и исчезнуть.

Этот страшный призрак, этого человека заката вызвал Достоевский. Не раз говорилось, что нам повезло, так как он не написал задуманную серию романов о «Карамазовых», а написал бы – и взорвалась бы не только русская литература, но и Россия, и человечество.

Но нельзя устранить ничего, однажды высказанного, даже если не сделаны окончательные выводы. Существующее, мыслящееся, возможное нельзя изничтожить. Русский человек существует давно, он давно существует и дале-

* Принцип индивидуализации (*лат.*).

ко за пределами России, он правит половиной Европы, и взрыв, которого так опасались, отчасти ведь прогремел в последние годы, причем грохот был слышен далеко. Оказывается, Европа устала, оказывается, она хочет вернуться к истокам, отдохнуть, ей нужно новое сотворение, новое рождение.

Здесь мне вспоминаются два высказывания одного европейца – европейца, который в глазах каждого из нас, безусловно, является символом старины, минувшей эпохи, символом Европы погибшей или, по крайней мере, Европы, чье состояние внушало тревогу. Этот европеец – император Вильгельм. А вспоминаются мне слова, написанные им под довольно странной аллегорической картиной: он призывает народы Европы оберегать свое «священное достояние» от опасности, надвигающейся с Востока.

Несомненно, император Вильгельм не отличался большой чуткостью и не был глубоким человеком, однако, как искренний приверженец и защитник старомодного идеала, он до некоторой степени мог предчувствовать опасности, угрожающие этому идеалу. Он был чужд духовности, не читал хороших книг, к тому же слишком усердно занимался политикой. Поэтому свое предостережение народам Европы он сделал, не начитавшись Достоевского, как мы могли бы предположить, – оно возникло, скорее, от смутного страха императора перед народными массами Востока, которые могли

хлынуть в Европу, будучи подняты честолюбием Японии.

Сам император очень, очень ограниченно понимал, что он высказал в своем предостережении и каким поразительно верным оно было. Карамазовых он, разумеется, не знал, так как не любил хорошие, глубокие книги. Но его предчувствие было поразительно верным. Именно опасность, которую он почувствовал, именно эта опасность уже появилась и день ото дня надвигалась на Европу. Имя ее – Карамазовы, их он боялся. Заразы с Востока он боялся, и вполне правомерно, и слабости европейского духа, которая отбросит его назад, заставит припасть к груди азиатской матери.

Другое высказывание императора, которое мне вспомнилось, когда-то меня буквально ужаснуло (не знаю, правда ли это слова Вильгельма или они приписаны ему молвой): «Войну выиграет тот народ, у которого крепче нервы». Тогда, в самом начале войны, в этих словах я почувствовал первый, отдаленный толчок начинающегося землетрясения. Конечно, император хотел сказать нечто очень лестное для Германии. Надо полагать, сам он был не из слабонервных, как и участники его охот и войсковых смотров. Знал он и залежавшуюся протухшую сказку о погрязшей в пороке Франции и о добронравных чадолюбивых германцах, знал ее и верил ей. Но все остальные, люди знавшие, более того, чувствовав-

шие, способные предугадать, что ждет нас завтра и послезавтра, восприняли его слова с ужасом. Ведь они понимали, что у Германии нервы не крепче, а слабее, чем у ее западных противников. В устах тогдашнего вождя нации эти слова прозвучали как свидетельство роковой и страшной заносчивости, слепого устремления навстречу гибели.

Да, нервы у немцев ничуть не лучше, чем у французов, англичан и американцев. Разве что лучше, чем у русских. «С нервами плохо» – так в быту говорят, имея в виду истерию или невроз, *moral insanity**, эти пагубные явления можно оценивать по-разному, но их совокупность и есть именно то, что я понимаю под карамазовщиной. Для Карамазовых, Достоевского, Азии Германия была бесконечно более уязвимой, более слабой, чем любая другая страна Европы, за исключением Австрии.

Вот и сам император – разумеется, по-своему – предчувствовал закат Европы и дважды его предсказал.

Но совсем иного рода вопрос – как относиться к закату старой Европы. Тут расходятся пути и взгляды. Преданные старине, верные поклонники священной благородной формы и культуры, рыцари надежной морали – все они могут лишь по мере сил препятствовать закату и безутешно оплакивать Европу, когда он настанет.

* Душевные болезни (англ.).

Для них закат означает конец, для других он – начало. Для них Достоевский – преступник, для других – святой. По их мнению, Европа и ее дух неповторимы, незыблемы, неприкосновенны, как нечто прочное и вечно существующее; по мнению других – переживают становление, преобразуются, вечно изменяются.

Карамазовскую стихию, азиатскую, хаотическую, дикую, опасную, аморальную, можно, как и все на свете, оценивать отрицательно, но можно и положительно. Те, кто весь этот мир Карамазовых, этого Достоевского, этих братьев, этих русских, эту Азию, эти фантазии демиурга огулом отвергают, и клянут, и безмерно всего этого боятся, сегодня в трудном положении, так как «Карамазовы» во всем мире сильны как никогда. Отвергая «Карамазовых», люди совершают ошибку – видят лишь фактическое, явное, материальное. Грядущий «закат Европы» будет, по их мнению, ужасной катастрофой с громами и молниями: революциями с резней и насилием или торжеством преступности, коррупции, воровства, убийств, всех пороков.

Все это возможно, все это несут в себе Карамазовы. Столкнувшись с одним из них, никогда не знаешь, чем он ошарашит тебя в следующую минуту. То ли убийством в пьяной драке, то ли трогательным славословием Бога. Среди них есть Алеши и Дмитрии, Федоры и Иваны. Как мы видели, они характеризуются

не свойствами, а способностью в любой миг обрести любое свойство.

Но пугливым не стоит уповать на то, что этот непредсказуемый человек будущего (он уже явился!) способен творить добро, а не только зло, способен основать как новое царство дьявола, так и новое царство Божие. Карамазовым мало дела до всего, что воздвигают или ниспровергают в земной жизни. Их тайна в чем-то другом, а равно и ценность, и плодотворность их аморальности.

Ведь, по существу, эти люди отличаются от других – прежних, порядочных, понятных и честных людей – лишь тем, что они живут равным образом и внешней, и внутренней жизнью, и тем, что их постоянно занимает собственная душа. Карамазовы способны на любое преступление, но совершают его лишь в исключительных случаях, в целом же им вполне достаточно мысли, мечты о преступлении, ощущения его возможности. В этом их тайна. Поищем для нее выражение.

Всякая формация, всякая культура, всякая цивилизация, всякий порядок основаны на соглашении о дозволенном и запретном. На своем пути от животного к далекому человеку будущего, каждый из нас, людей, должен постоянно подавлять в себе, скрывать, отрицать многое, бесконечно многое, чтобы оставаться приличным малым и порядочным членом общества. В человеке столь много от зверя,

столь много первобытности и мощнейших, едва сдерживаемых инстинктов звериного, жестокого эгоизма. Все эти опасные инстинкты в нас живы, они всегда живы, но культура, соглашение людей, цивилизация заставили их скрываться; эти инстинкты никогда не выставляют на показ, мы с детства приучаемся таить их и отрицать. Но каждый из этих инстинктов однажды снова выходит на свет. Они, все, живут, ни один не бывает умерщвлен, не бывает и преобразован и облагорожен надолго или навсегда. И сам по себе любой из этих инстинктов хорош, он не хуже других, однако каждая эпоха и каждая культура считает некоторые инстинкты особо опасными и презирает сильнее всех прочих. Проснувшись, они превращаются в силы, которые не находят выхода, которые лишь поверхностно и с мучительным трудом удается укротить, они рычат и мечутся, точно звери, режут, точно рабы: долгое время жестоко угнетавшиеся и вконец истлестанные плетьюми, они восстают, пылая первобытным природным жаром, – и тут появляются Карамазовы. Если культура, то есть старания усмирить зверя в человеке, слабеет, лишается упорства, – мы видим все больше людей странных, истеричных, с диковинными прихотями, похожих в этом смысле на подростков в период созревания или на беременных женщин. Их душу терзают порывы, безымянные, порывы, которые надлежало

бы, руководствуясь старой культурой и старой моралью, назвать дурными, но которые заявляют о себе столь громко, столь безыскусно и невинно, что всякое понятие добра и зла становится сомнительным и любой закон теряет прочную основу.

Такие люди – братья Карамазовы. Они с легкостью сочтут условностью любой закон, а любого законопослушного человека – узколобым обывателем, они чрезмерно высоко ценят любую свободу и неординарность, они самолюбленно прислушиваются к самым разным голосам, звучащим в их собственном сердце.

И все-таки хаос, царящий в этих душах, не обязательно рождает преступления и смуту. Получив новое направление, новое имя, новую оценку, вырвавшийся на свободу первобытный инстинкт становится ростком новой культуры, нового порядка, новой морали. Да, таково положение дел в любой культуре: мы не можем уничтожить древние инстинкты, убить в себе зверя – умрут они, значит, умрем и мы. Но можно в какой-то мере направить их, отчасти усмирить, заставить служить «добру», как заставляют норовистого жеребца тянуть воз. Впрочем, со временем сияние «добра» тускнеет и меркнет, вера в него иссякает, инстинкты перестают слушаться узды. В такие времена культура рушится. Не вдруг, бывает, что ее гибель затягивается на столетия, как было с культурой, которую мы зовем «античной».

Но на стадии, предшествующей смене старой, умирающей культуры и морали новыми, на этой неопределенной, опасной, болезненной стадии, человек должен снова заглянуть в свою душу, увидеть, как там, в глубине, вздымается зверь, увидеть в себе самом буйство первобытных, чуждых морали сил. Обреченные, избранные, созревшие и предопределенные к этому люди – Карамазовы. Они истеричны и опасны, они одинаково легко становятся и преступниками, и аскетами, у них нет иной веры, кроме веры безумцев, – в сомнительность всякой веры.

Любой символ имеет сотни толкований, любое толкование может быть верным. У Карамазовых также сотни толкований, и мое – лишь одно из них, одно из сотни. В канун великих переворотов человечество создало в этой книге символ, сотворило образ, подобно тому, как отдельный человек в своих снах создает образы своих противоборствующих и уравнивающих друг друга инстинктов и сил.

То, что некий отдельный человек смог написать «Карамазовых», – чудо. Что ж, чудо свершилось, и потребности в его объяснении нет. Но определенно есть потребность, очень глубокая потребность, истолковать это чудо, прочесть весь текст предельно полно, предельно всесторонне, предельно глубоко постигая его светлую магию. Мой же текст – лишь мысль, взгляд, соображение о нем, и не более того.

Ни в коей мере я не предполагаю, что все мысли и соображения, высказанные здесь, сознательно имел в виду сам Достоевский! О нет, ни один великий провидец и сочинитель никогда не умел до конца истолковать свои видения!

И наконец, я хотел бы не только упомянуть этот тревожный, опасный момент неизвестности на переходе между ничто и всем, но и кратко описать, каким образом в этом мифическом романе, в этом сне человечества, воссоздан порог, который ныне переступает Европа, и, кроме того, отметить присущее всей этой книге ощущение и предчувствие богатых возможностей нового.

В этом отношении особенно удивительна фигура Ивана. Вначале перед нами современный, благоразумный, культурный человек, холодноватый, разочарованный, слегка скептически настроенный, слегка пресыщенный. Но мало-помалу он становится моложе, горячее, значительнее, в нем все больше карамазовского. Это он – автор поэмы о Великом инквизиторе. Это он от холодной неприязни, даже презрения к убийце, каковым он считает своего брата, приходит к глубокому чувству собственной вины и казнится ею. И он же крайне ярко и совершенно необычайно переживает душевный процесс столкновения со своим бессознательным. (Вокруг этого все и вертится! В этом и состоит смысл заката старого мира и

рождения нового!) В последней книге романа есть на редкость странная глава, в которой Иван, вернувшись от Смердякова, обнаруживает у себя дома черта и долго беседует с ним. Черт – не что иное, как бессознательное Ивана, всколыхнувшаяся масса куда-то канувших и, казалось бы, забытых душевных переживаний. И Иван это сознает с удивительной ясностью и заявляет об этом вполне внятно. Но ведь он разговаривает с чертом, ведь он верит в него – ибо что внутри, то и снаружи! – он возмущается, негодует и даже швыряет стакан в черта, хотя сознает, что тот – в нем самом. Думаю, нигде во всей художественной литературе диалог человека с образом его бессознательного не воссоздан более ясно и наглядно. Этот разговор с чертом, эта готовность Ивана (несмотря на раздражение) искать с ним взаимопонимание – и есть тот путь, который Карамазовы призваны указать нам. В романе Достоевского бессознательное пока еще является в образе черта. Это правильно, так как усмиренный, культурный и нравственный человек все вытесненное и живущее в его подсознании полагает сатанинским и ненавистным. Но, например, соединив черты Ивана и Алеши, мы получили бы уже более высокую, более плодотворную позицию, которая и создает почву для грядущего нового. И тогда бессознательное станет уже не чертом, а богочертом, демиургом, который был всегда, который

рождает все. Заново установить понятия добра и зла – задача не Вечного, не демиурга, это дело человека и его богов, что помельче.

Не одну страницу можно было бы посвятить здесь еще одному, пятому Карамазову, ибо он играет в книге важную, причем жуткую роль, хотя и остается в тени. Смердяков, незаконнорожденный Карамазов. Это он убил старика. Он убийца, верящий в Бога вездесущего. Это он может наставить в божественных и самых жутких вопросах даже такого образованного и знающего Ивана. Он самый хилый и болезненный и в то же время – самый знающий из всех Карамазовых. Но в этом очерке недостаточно места, чтобы воздать по заслугам также и ему, самому жуткому Карамазову.

Книга Достоевского неисчерпаема. Я мог бы целыми днями искать и находить в ней все новые черты, свидетельствующие все о том же. Одна из них, прекрасная, даже восхитительная, только что пришла мне на ум: истеричность матери и дочери Хохлаковых. Карамазовская стихия, зараженность всем новым, больным, дурным, воплощена здесь в двух фигурах. Мать – просто больная женщина. У этой натуры, прочно укорененной в традиции и старине, истерия не переходит границ болезни, слабости, глупости. Но у ее великолепной дочери уже не упадок сил, а избыток их, нереализованные возможности оборачиваются истерией и проявляются как болезнь.

Переживая сложное время между детством и зрелостью, в опасных, болезненных чудачествах и фантазиях дочь идет гораздо дальше, чем заурядная мать, и все-таки даже самые ошеломляющие, самые злые и бесстыдные выходки дочери отличают невинность и сила, которые определенно обещают плодотворное будущее. Мать Хохлакова – истеричка, ее впору отправлять в санаторий, вот и все. Дочь – нервнобольная, и в ее болезни проявляются благороднейшие, но подавленные порывы.

И что же, эти-то процессы в психике вымышленных книжных персонажей якобы означают закат Европы?!

Несомненно. Они – такие же знаки его, как весной любая травинка, если на нее устремлен взор человека духовно зоркого, – знак жизни и ее вечности, а сорванный ноябрьским ветром листок – знак смерти и ее неизбежности. Возможно, весь «закат Европы» будет «только» внутренним, перевернет «только» душевную жизнь одного поколения и не пойдет дальше переосмысления обветшавших символов, переоценки ценностей. Что ж, причиной гибели античности, этой первой блистательной формы европейской культуры, был не Нерон, не Спартак, не германские племена, а «только» принесенный из Азии росток мысли, простой, древней, бесхитростной мысли, которая зародилась гораздо раньше, но лишь в ту эпоху приняла форму учения Иисуса.

Если кому-то угодно, вполне можно изучать «Карамазовых» и как явление литературы, «как художественное произведение». Если бессознательное целого континента и целой эпохи явилось кошмарным вещим сном пророку-сновидцу и исторгло у него жуткий хриплый вопль, то, разумеется, можно изучать этот вопль и вооружившись критериями учителя пения. Вне всякого сомнения, Достоевский был, помимо прочего, высоко одаренным писателем, несмотря на чудовищные огрехи, какие можно найти в его книгах и каких не бывает, например, у Тургенева, значительного писателя, но только писателя. Пророк Исайя также весьма одаренный писатель, но это ли важно? У Достоевского, и в частности в «Карамазовых», встречаются почти неестественно безвкусные места, каких никогда не найдешь у художников слова, они, впрочем, попадают лишь там, где и автор, и читатель уже по ту сторону искусства. И все-таки этот русский пророк вновь и вновь заявляет о себе как художник, как художник мирового уровня, и испытываешь странное чувство, подумав о том, что в те годы, когда он уже написал все свои книги, великими европейскими писателями считались у нас совсем другие авторы.

Впрочем, я уклонился от темы. Я хочу сказать: быть может, чем меньше черт художественного произведения в подобной книге о мире, тем более истинны ее пророчества.

И все равно, даже «романное», даже фабула, «вымысел» «Карамазовых» говорят столь много, сообщают о столь важном, что мне кажется – это не что-то намеренное, не вымысел какого-то человека, не произведение писателя. Один пример – но им все сказано: главное в романе то, что Карамазовы невиновны!

Карамазовы, все четверо, отец и сыновья, – подозрительные, опасные, ненадежные люди, у них странные порывы, странная совесть и странная бессовестность, один – пьяница, другой – развратник, третий – фантазер, чуждый мирской суеты, наконец, четвертый – потаенный сочинитель богохульных писаний. Большая опасность таится в них, в этих странных братьях, они таскают за бороду случайных встречных, бросают на ветер чужие деньги, кому-то угрожают убийством – и все же они невиновны, и все же они, все четверо, не совершили ничего действительно криминального. Убийцы во всей этой большой книге, где речь идет почти сплошь об убийствах, воровстве и виновности, убийцы и виновные в убийстве – только прокурор и присяжные, только эти представители старого, доброго, проверенного временем порядка, безупречные граждане и люди. Они выносят приговор невиновному Дмитрию, они издеваются над его уверениями в невиновности, они – судьи, они по своему закону судят Божий мир. Они – те, кто пребывает в заблуждении и совершает

страшную несправедливость, они-то и становятся убийцами – из душевной черствости, трусости, тупой ограниченности.

Это не вымысел, и уж точно не литература. Тут нет бьющей на эффект изобретательности, как в детективных романах (а книги Достоевского являются и таковыми), нет и сатирической остроты благоразумного автора, который, засев в укрытии, разыгрывает из себя критика общественных порядков. Все это мы слышали, нам этот тон знаком, и он давно не внушает нам доверия! Здесь – другое: у Достоевского невиновность преступников и вина судей не служит неким хитроумным сюжетным построением, а является ужасным фактом, он возникает в тайных глубинах, зреет исподволь и почти внезапно, чуть ли не в последней книге романа вырастает перед нами, словно каменная стена, словно вся боль и вся бессмыслица мира, все страдание и безрассудство человечества!

Я сказал, что Достоевский, собственно говоря, не писатель, или, что не это в нем главное. Я назвал его пророком. Трудно объяснить, что это, собственно, значит – пророк! Мне кажется, вот что: пророк – это больной человек, и Достоевскому действительно была свойственна истероидность, доходившая почти до эпилепсии. Пророк – особого рода больной, утративший здоровое, позитивное, благодетельное чувство самосохранения – сущность

всех буржуазных добродетелей. Таких людей не должно быть много – не то наш мир разнесет в щепки. Больной такого рода, как бы его ни звали – Достоевский, Карамазов, либо еще как-то, – наделен странным, тайным, болезненным, божественным даром, за что в Азии безумцев глубоко почитают. Он предсказатель будущего, ведающий. Народ, эпоха, страна, часть света сформировали пророка как свой особый орган чувств, вроде щупальца, странный, немыслимо нежный, немыслимо благородный, немыслимо уязвимый, страдающий орган, какого у других людей нет, вернее, у других людей, на их счастье, он остался недоразвитым. Это мантическое осязание не следует понимать примитивно, считая глупостью вроде телепатии или трюком, хотя этот дар, конечно, может проявляться и в подобных диковинных формах. Вернее будет сказать, что подобный «больной» истолковывает движения своей души в обобщенном и общечеловеческом смысле. У всех людей бывают видения, у всех людей есть фантазия, все люди видят сны. И любое видение, любой сон, любая фантазия и мысль на своем пути из нашего бессознательного в наше сознание может претерпеть тысячи различных толкований, и каждое из них может быть верным. Провидец и пророк не истолковывает свои видения в перспективе своей личной судьбы, и свой страшный сон он понимает не как предостережение

о личной болезни, личной смерти, а как весть о грядущей гибели всего целого, чьим органом, щупальцем, он является. Этим целым могут быть семья, партия, народ, а может быть все человечество.

Свойство, которое мы обычно называем истеричностью, то есть определенная болезнь и вызванная ею повышенная способность к страданию, у Достоевского обрело орган и голос, стало стрелкой барометра всего человечества. И скоро оно это заметит. Уже половина Европы, по меньшей мере, половина восточной Европы, скатывается в хаос, в священном безумии мчится по самому краю бездны, да еще поет – пьяно распевает гимны, как пел Дмитрий Карамазов. Обыватель при звуке этих песен смеется, кривясь от негодования, святой и провидец слушает их со слезами.

1919